

Узнав, что роман «Графоманка» нашей землячки, выпускницы экономического факультета ВГУ Галины Щекиной стал в 2008 году финалистом премии «Русский Букер», я, конечно, радовалась ее неординарному литературному успеху, но, признаюсь, не очень-то удивилась: чего-то непредсказуемого от нее всегда приходится ожидать. Галина Щекина, уже 30 лет живущая в Вологде, — личность яркая, неординарная: раскованная, рисковая, речистая, деятельная, почти маниакально преданная избранному писательскому поприщу, фонтанирующая дерзкими замыслами и идеями, словом, — эдакий «громокипящий кубок».



Ее творческая активность и энергия двигателя литературного процесса тоже, кажется, не знает меры и границ. Не устаю удивляться, как в одной «человеческой единице» уживаются и попросту умешаются поэт, прозаик, литературный критик, наставник молодых авторов, издатель, редактор, организатор поэтических фестивалей, многих писательских встреч и разнообразных культурных акций.

Несколько лет Г. Щекина возглавляла Вологодское отделение Союза российских писателей, создав его вместе с единомышленниками буквально на пустом месте, с чистого листа.

Во многом благодаря ее неутомимому упорству и неиссякаемому трудолюбию с 1993 года в Вологде выходит альманах «Свеча», где публикуются сочинения не только местных авторов, но также их коллег из разных регионов России и зарубежных литераторов. Кстати, несколько лет назад она опубликовала в нем интересную, не знакомую воронежцам прозу нашей другой землячки Елены Гудошниковой. Как тут было не удивиться?!

Галина Умывакина

КОРОТКАЯ ПРОЗА

РАБСТВО

За десять минут набежала публика, даже американка в алом блайзере. Быстрей, быстрей — эти первые слова комком в горле, и как опоздало телевидение опять, это мы пропустим, но дальше все пошло изумительно. Особенно когда робкие дети из английской школы объясняли американке: мадэ хэв э поум — хе сан мэйк драун — то есть у матери были стихи, ее сын рисовал картинки — энд Таня, хиз вайф, пут колор — его жена Таня накладывала краски... «Ес, науви хэв поумиз энд пикчез», — шебетали дети из английской школы... Английская речь, тихие флейтовые

переливы, доносящиеся из скрытого в цветах музыкального центра...

Американка, дизайнер по профессии, всплескивает руками, как птица. Все взволнованы. Хазбенд этой американки очень богат, он может купить что-нибудь у Тани, мастера по батику... Но когда Танин хазбенд бабахнул в потолок шампанским и плафоны полетели прямо на компьютеры, ах, ах... Однако это было вчера, праздник прошел, а сегодня надо писать отчет... Да еще Она...

А вот и Она... Она сегодня одета хорошо, в синем ватнике на пять размеров больше, в разных цветом валенках, в растянутой шапке-петушке. Она тянет носом и говорит басом,

и каждое слово ее значительно и даже торжественно.

— Огурчиков.

В руках у нее потрясающая желто-зеленая банка с листиками и плавающими зубочками чеснока. А еще там игрушечные огурчики и малюсенькие перечные полумесяцы, лучистые веера укропа... Ну, это живопись... Можно долго рассматривать это волшебство, тем более что Она дает время на раздумья. Она понимает, что дело после праздника, а сюда из соседнего общежития приносят много чего — и варенья, и соленья, и промтовары, и золото. В критических случаях, когда жажда велика, а из вещей уже нет ничего, несут простыни и холодильники... Сотрудница вспоминает, что сегодня у кого-то день рождения и потому попадает на крючок.

Сколько-сколько? Шесть? Бедная женщина понимает, что это ужасно дешево, вдвое меньше, чем в лавке, а если разделить все это на других сотрудниц... Сопротивление сломлено. Приходящая Она озабоченно считает мелкие и сверхмелкие купюры и благодарно улыбается голыми деснами с двумя черными пенечками зубов. Сотрудница запоздало размышляет, где мадам, такая пьянь, могла взять подобное великолепие, уж не сама ли мариновала? Но мадам Разные Валенки под звуки флейтовых медитаций счастливо семенит к открытию винной лавки...

Выждав неделю, мадам проникает опять на освоенную территорию. На ней те же разные валенки, но крутая синяя спецуха подпоясана эластичным ремнем, а на голове вместо растянутого чулка красуется лихая кепка с трикотажными ушами и белоснежными буквами SKI. Смятое лицо мадам выглядывает из-под этой кепки как неизвестно что! Но зато она держит в руках эти самые «ски», новые, яркие и провозглашает громко:

— Лыжи деткам!

Присутствующие сотрудницы, полностью лишенные финансирования, малодушно сбегают за стеллажи, а наша знакомая сотрудница со сданным теперь отчетом активно включается в обсуждение. Она утверждает: да, в спортивных магазинах это втрое дороже, но там с ботинками, а здесь без. Мадам торжествует — то там, а то здесь! Сотрудница хватает все как есть, полагая, что можно обойтись, в крайнем случае, и валенками, и дутиками, а как только мадам убегает, подходят желающие поругать-похвалить, и детские лыжи без ботинок тут же перекупают за более высокую цену обладатели лыжных ботинок. Далее являются почти новая камчатная скатерть, со-

вершенно новый утюг, почти Roventa, потом дешевый, видимо краденый, сахарный песок, немецкие коробки для специй, наскоро отмытые от специй, и многое другое, сгоревшее в топке абстинентного синдрома. Знакомая нам сотрудница становится все более и более виноватой, потому что самая малообеспеченная, и посему на нее магическое двух-трехкратное удешевление оказывает оглушающее действие. Кроме того, она доброе, безвольное существо и не может не сочувствовать чужой нужде. Она понимает, что это значит. Социально и психологически слабая, она сперва идет на риск сама, потом подвергает тому же риску сослуживиц. Втягивается вся контора! Но если контора может не брать, то сотрудница не может не брать. Ибо покорстывает бичам.

Проходят зима, весна, лето, экспансия мадам растет. Теперь она уже не просачивается, а входит, громко хлопая подошвами туфлей, которые лет пять назад были итальянскими шпильками, на ней невообразимая юбка из деревенской набойки прошлого века плюс черная футболка неясного размера, у которой на груди YES, на спине NO. Отсутствие шапок уличает мадам в полном отсутствии прически, то есть делает ее мадам Бильярдный Шарик. Скоро в конторе появляются сетки крупной свеклы, почти новые немецкие комнатные тапки с цыплятами, тьма целлофанов с Идэн и Крузом. Вся продукция расхватывается довольно быстро и, главное, до открытия лавки. С победным видом мадам уходит, окрыленная легким успехом, и, видимо, решается урвать что-то еще. В упоении она теряет чувство меры.

И перед виноватой сотрудницей через полчаса грохается мешок мерзлых костей. Удивительно, что сотрудница действительно испытывает слабость к такого вида гастрономии и частенько варит крепкие бульоны на костях.

Кажется, мадам Жрите даже не утруждается словесной формулировкой, заранее зная, что покупательница деморализована. Действительно, между ними давно уже установилась невидимая связь. Ибо один только взгляд из двери заставляет сотрудницу бросить важного посетителя, чтобы торопливо рыться в клеенчатой сумке мадам. Даже бывалые люди переглядываются и бывают неприятно поражены. Более того — сотруднице тоже стыдно и она, торопясь избавиться от мадам Два Зуба, почти не глядя, хватает всякую ерунду... Беседа идет на уровне глаз. Взгляд мадам: бери, дешево. Взгляд сотрудницы: нет денег. Мадам: бери еще дешевле. Сотрудница: не надо, не надо.

Мадам: зайди, но дай выпить. Сотрудница: ну ладно, давай...

Кости старые, коричневые, лежали в холодильной камере месяца три. А может, они были уже сварены или съедены, испортились, а потом засунуты в холодильник! Сотрудница густо краснеет и отрицательно качает головой.

Но мадам наступает и щелкает, щелкает по пакету. Сотрудница тянет носом и опять мотает головой. А мадам Наглость будто решила ее прикончить и делает глottательные движения и в ее глазах с набрякшими веками — слезы. Сотрудница в ужасе вскакивает и убегает за стеллажи, а мадам за нею, хватая за рукав. Деньги тем же таинственным способом, которым владеют шыганки, просачиваются сквозь кошелек сотрудницы и попадают в руки мадам Наглость... Суровая вахтерша наконец настигает зарвавшуюся торговку и выворяет вон... А наша сотрудница почему-то плачет. Видимо, потому, что на подоконнике среди цветочных горшков красуется мешок с костями. Он лежит там час и два, начинает таять, растекаться и хозяйка-раба не выдержав, выбрасывает его в мусорку.

Затем она машинально нажимает на кнопку, включает музыку, пытаясь, видимо, избавиться от отчаяния. Флейта завораживает ее волшебным журчанием. Будто кожа проницаема для нежного звука, будто вода через почву — просачивается, пронизывает и лечит... Смотри же, какая сила у нежности, следи, как взлетает она и крепнет. Еще выше, еще шире зыбкие круги, еще ближе к солнцу, в котором ты растворишься... Так звенит поет флейта и напоминает о нетленном, несуетном — среди жизни и тленной, и суетной...

Вечером на выходе из конторы она опять видит воплощение своего позора и стукается спиной о дверь. А порядком уже пьяная мадам Дай Выпить подходит вплотную и цедит:

— Эх ты... Эх ты...

Сотрудница идет по тротуару и смотрит прямо. Лицо ее горит, потому что оналичная женщина, а идет рядом с такой мадам. Ей, конечно, обидно, что мадам обманула ее доверие и принесла отбросы. Ей, конечно, страшно, что невидимая связь, почти симпатия, почти «снисхождение богатой к нищей», почти жалость-доброта «к простому народу» кончились. Она уже сделала рывок и попыталась выйти из зависимости. Но ей, мягкой и снисходительной, волей-неволей приходится признавать, что есть люди, не достойные ничего, даже милостыни. И такие люди, как мадам Обдеру Карманы — свободны, а вот она, тактичная и чуткая — раба. И все это видят.

ГЛАС НАРОДА

Сидела вчера в зубной очереди. Зуб начал болеть уже так, что казалось вся челюсть, вся шея обваливаются... Как обычно вся очередь на удаление обменивалась сочувственными замечаниями.

— Вы же удаляли уже!

— Так да! Вчера. А сегодня вон как разнесло.

— А я коронку сняла, такой ужас...

— Да какой ужас, я вот только удалила два часа тому, и чувствую — осколок.

— Да бросьте. Которая сегодня рвет — эта не оставляет. Проверено.

— А вы гляньте, гляньте...

— Да идите уж. Пусть сами глянут.

И вдруг та, что лишилась коронки, прошамкала:

— А вот я вас знаю, вы литератор.

Я с удивлением к ней повернулась. Надо же! Шляпка фетровая, плащик бархатный... И шарфик шелковый повязан. Седенькая, сморщенная, но вполне прямая.

— Вы, наверно, из социальной службы?

Может, я у вас выступала...

— Нет, не выступали. Не из социальной.

— Тогда из школы. Какая вы школа?

— Никакая. 29 школа. Вы там не были. Но я не оттуда. Я очень скрытна, так что не спрашивайте.

— Ну ладно, не хотите не надо.

— Нет, я поговорю, больно интересно. У вас ведь вечер токо что был, в Шаламовском.

— Был, и что, откуда знаете?

— На заборе читала, сразу узнала. Вы не поэтесса, вы только книжки пишете.

— Нуу...да...

— А еще спрошу — такая Сучкова живет или уехала?

— Сучкова живет в Москве, а что?

— А то. Больно заковыриста, я сначала не понимала ее. А потом дошло, дак понравилось. Чего она в Москве-то нашла? А не тут? У ней тут кто, родители?

— Да, родители. Тут не дадут вольничать.

— Да, тут не дадут. Ну, вы думаете, она — ВЫШЛА? Настояще?

— Да, вышла.

— А вы?

— Я нет. Я не в Москве.

— А я еще спрошу. — Дотошная ста-рушка! — Несколько лет назад в телефонке встреча была. Мужчина серьезный, в жилетке. Вроде из Финляндии.

— У нас один их Финляндии. Коков фамилия.

— Тоже запал. А там еще высока женщина ругалася. — Она начальница?

— Она с областного радио. Волкова. Тоже писатель. А вы что меня про всех-то спрашивается?

— Так всех выводите. А сами не вышли?

— Не вышла.

— Ну, так вы выходите... Пора... Вас уже знают...

Тут замигала лампочка над дверью кабинета. И я пошла рвать зуб.

ЖИЛ-БЫЛ МАЛЬЧИК

Он родился в удивительное время: злые силы праздновали победу над добром. Добру и злу было страшно некогда. В земной юдоли никто не встретил мальчика, никто не успел дать ему напутствия. Мальчик посмотрел на шелестящий дождь, в котором молча кипела листва, на пустое звонкое небо. Было просторно! И стал жить.

Только было ему одиноко. Папа его все сидел в тюрьме (мальчик еще не знал, что тюрьма — это защита людей от жизни). Мама все время работала и ее сил еле хватало на то, чтобы добывать еду мальчику. Мальчик еще не знал, что еда нужна для того, чтобы оставаться в живых и искать свою душу. Чем меньше ешь, тем быстрее найдешь, но сила привычки велика. Поэтому когда просил он маму, чтобы родила ему братика, она только вздыхала. Мальчик подолгу смотрел из темной комнаты в высокое звонкое небо и просил. Просьбу услышали и дали братика. Мальчик сам его кормил и одевал, пока мама работала, а папа сидел в тюрьме. Все ребята гуляли и смеялись, а мальчик сидел дома и радовался, что братик хорошо растет. Мальчик уже знал, что пока братик растет, душа где-то рядом.

Однажды мальчик шел по улице в школу и думал — почему в жизни все неправильно.

Он догадался, что все это знают, но боятся говорить! Он решил — а я скажу громко! Но в это время небо испугалось, грохнул гром, ударила молния. Молния всегда ударяет во что-то высокое. Темно стало мальчику. Много дней темно, пока его не разыскала мама. Когда она его обнимала, ее слезы оказались такими горячими, что мальчик подумал — наверно, это его душа сама нашла. Но он ошибся.

Вырос мальчик и опять стало ему одиноко. Каждый раз, как мимо шла красивая девушка, он вздрагивал. Ему казалось, это душа его мимо идет, и он шел за девушкой, а та в испуге и убегала. Мальчик был красивый и высокий, но лицо было детское.

Тогда мальчик садился и писал строчки. Он к одной строчке привязывал другую и так получалось большое вязание. В этом вязании, кажется, иногда мелькала душа. Его охватывало такое волнение, что становилось страшно и весело. Он приносил знакомым это вязание и те удивлялись. А он краснел, извинялся и думал — может, он уже поймал наконец свою душу? Трудное дело.

Мама мальчика боялась, что он занимается плохим делом, оно было непонятное. Братик приносил деньги, а мальчик-то ничего не приносил. Усталая мама рвала вязание быстрее, чем он его сплетал. Все кричали на него, пока он сидел молча и ловил свою душу. Но знакомые, которые тоже сплетали строчки, на него не кричали! Решил отдать им все. Однако пришел он, глянул, а его строчки все порваны, да лежат в мусоре. Невозможно уже найти никакую душу в них. Пришлось ему пойти на улицу искать девушек. Но девушки, как назло, все убегали. Поэтому мальчик пошел, куда глаза глядят. Зашел в чужой дом, выпил вина и лег. И стало ему так сладко и горячо, как в тот раз, когда мама нашла. И сказал: все, или, душа. Не могу тебя поймать. И душа ушла. Он был слабый мальчик, но он же не виноват, что появился такой, без напутствия.

Все стали искать мальчика — но не было его нигде. Знакомые стали искать, мама стала искать, братик стал искать, девушка стала искать. Достали его строчки, чтобы в строчеках искать. Но строчки оказались перепутаны. С тех пор они ишут, ишут, а все бесполезно. Потому что очевидное иногда невидимо.

СЕРДЦЕ СВИРИДА

Свирид не хотел никуда ехать!

Он представил, как садится в казенную машину и мчится по оледенелым снегам. За четыре часа озябнет, там еще заседание долгое, дадут ли чаю, неизвестно, а силы у старика уже не те... Свирид был относительный стариk, с рождественской серебряной бородой, с серебряными кудрями на бочок, румяный и улыбчивый. В городе морозное солнце, на Соборную горку обещался со внуком, и Агния, сердце рОдное, затеяла печь рыбник с трескою. Как нагуляются они с внуком, раскраснеются, как придут к Агнии, а там — царство-государство с корочкой румянной! Ой, да как самовар поставят и да как пойдет чай на два часа...

Друзья мои, прекрасен наш союз. А хотя не очень! Свирид от имени и по поручению выступил на конференции, и до сих пор его мучило. Агния, сердце родное, отгладила серый костюм. Свирид смотрелся в нем солид-

но, но когда вышел на кафедру, вообще все рты пораскрывали. Речь его была цветиста и сочна, глаголил он о чистоте всего русского, да так горячо, что и себя убедил. Под конец небрежно бросил: «А что до этих новых, так это наносное... Не той тропинкой пошли...». «Эти новые» сидели отдельно и ждали от него похвал. Ага, получили! Особенno эта шелкоперка у них. Ну, помогал. Ну, приходила домой, но чтоб в ученицах держать — извините. Такой раскол навела. А ведь он, Свирид, человек мирный. И пьеса его про Христа, и стихи полевые, васильковые... Извините...

Но из района позвонили два раза и... Свирид поехал. В заказанной машине он оказался со шелкоперкой рядом. Она тихо забилась в угол и молча смотрела в окно. Да, что-то плоховата на вид, и круги под глазами. Свирид решил спать, но не смог. Что-то екало в нем каждый раз, как он обертывался на ее находленную фигуру в куртке и жидкай шапочонке с шарфом.

Руки и ноги вовсе застыли. Солнце, обливши светом русские утренние снега, ушло и зарылось в тучи. Сердце так вдруг заболело у Свирида, что он стал искать таблетку.

Но таблетки не было.

Мы одно дело делаем, одно дело. Мы едем на чтения. Чего делить нам, нечего делить! И не должен ничего я никому, и старый я уже. Так думал Свирид. Но сердце продолжало болеть-нарывать, и он перепугался. Закрыл глаза и прошептал тяжелые слова. Что он не хочет умирать во лжи. И просит он его простить. Вы дети все мои, я всех голубил, а тут заставили меня, прости уж старика. Не то помру и не узнаешь, что и зла я не держал ко всем вам. Слыши, дочка, чего баю... Так говорил Свирид, как будто засыпая. И он не видел, что она-то, шелкоперка эта, все кивает и за руку его берет.

А на чтениях они сидели рядом и молчали. Потому что счастье было, сердце-то сразу отпустило. Потому что говорили другие, а у них все уже было сказано.

ТРОЕ НА КАМНЯХ

С. Фаустову

Камни, валуны шершавые, точно крытые пылью, узорчатой цветной плесенью, сохлой осокой. Они обычно под водой, а вот вода отступила и дно стало берегом.

Невидимое стало видимым. Трое бредут по дну, прыгают, перебираются с камня на камень — кто они?

Хорошо и легко скачет босая девушка, босоножка, держа в руках свои развалившиеся босоножки. Узкоплечая, гибкая, похожая на грузинку — глаз длинный искоса, лохмата, темноволоса, в шортиках и футболке. Она подолгу высматривает, куда ступить, осторожничает, озирается, засматривается на листики, прутики, все, что стало мусором дна. А в общем движется прямо. Грациозный танец с перерывами, замираньями.

Парень небольшого роста, крепкий, веселый, в рубашке и сапогах, он идет обходами, крутит головой, не желая прыгать, а может, прыгать в сапогах неловко. Парень упруг, девушка невесома. С ними мальчик маленький, не похожий ни на того, ни на другую, это совсем третий человечек. Он громко зовет, часто оступаясь и падая. Находя ручку от чайника, золотую проволочку и яркую любовную наклейку, опять вопит о внимании, чтобы с ним вместе повосторгались.

Парень от него отмахивается, он упрям и настойчив, а девушка покрутится в досаде и все же подает руку маленькому.

Они не движутся. Они скорее кружат, ну куда, куда дойдут они — кто в лес, кто по дровам?

Солнце кусками среди рваных ветром туч, огонь кусками, лентами от рваного костра, кожа от них красная и горит. Чего, казалось бы, надо — залечь в высокую жесткую траву — покой да тишь. А нет, надо ползать, карабкаться, изучать невесть что, швырять ракушки и ветки в клекот воды.

Парень, кажется, палец разбил в сапоге, хочет на него kleить листок, он не двинется, пока не обходит ногу, девушка сердито машет на оводов и на прядки волос, раздуваемые ветром. Мальчик устал, улюлюкает и — ни с места. Он слаб, эмоционален и не хочет ничего знать. А парень любит комфорт. А девушка вспоминает, что ей надо выглядеть и ищет, где посмотреться в водичку.

Смотришь на них и не верится, что эти не-похожие люди — родные друг другу, два брата и сестра! И психология, и темперамент, и внешность, и поведение — ничего общего, как с разных планет. Смотри на них, ты видишь невозможное.

Так вот, сегодня, семнадцать лет спустя, мы с тобой сидим на берегу и шурясь от косматого солнца, смотрим на детей, которые прыгают с камня на камень, представляешь? Они могли не появиться на свет, вспомни, сколько случилось всего. Помнишь, много лет назад, когда я влюбилась в тебя? Меня положили в больницу. Подкосила тогда простая мысль: если не выйду из больницы, то не

смогу в старости гулять с тобой по берегу. Как гуляли дедушка с бабушкой в «Старомодной комедии», как гуляют два человека, прожившие жизнь. «Ничего я еще не прошел!» — крикнул старый поэт... Вспомни, ведь все было «против»... А они появились, выросли и земля даже жмурился под их упрыжими пятками. И чего еще просить у всевышнего, не знаю, Господи, одно это — и то непостижимо.

СУМКА

Каждый раз, когда я выплываю из подъезда с огромными сумками в руках, я становлюсь похожа на одну мою покойную коллегу. Та ходила на работу с тремя сумками, и там у нее были библиотечные книжки — а читала она много, чтобы от горя отвлечься, — а еще там были мешки с травой, которую она заваривала порознь, и пила отвары, целлофаны с хлебом, кашей, молоком, а отдельно — рабочие папочки с таблицами, которые она могла дома посчитать. Я тоже на работу с двумя сумками и в обеих папочки...

На днях, торопясь сунуть в духовку противень с солеными сухариками, я сильно обожглась и теперь мне обе сумки приходится перекладывать в одну руку. Вижу, что неподъемно, придется разбирать. Вздыхаю и начинаю изучать залежи.

Так-с, ребята-поэты. Не вам ли надо сказать спасибо, что вы так много и хорошо пишете? Посмотрим, это что. Это наш философический летчик. Никогда не забуду, как он бахахнул нам про Шопенгауэра. Все просто отключились. Кажется, недавно сделали ему книжку стихов, идея и конструкция — мои... Что, кстати, не оправдалось общечески, и он исчез, ходить на занятия перестал... Сложный человек. Стихи у него пронзительные есть — «я в сны уйду, из коих нет возврата...». Эссе писал про большого поэта, а на самом деле — про себя. Говорят, литературная мистификация, жанр такой.

А это его стостранничная повесть. Нет сюжета, хотя это неглавное. Но когда социальный гротеск затемняет и забивает живого человека? Когда главный герой, будучи выше и мудрее всех, вдруг начинает маршировать, как манекен? Жизнь-то с ее солеными волнами, радостью объятий и абрикосами все равно выдвигается из рукописи по обочине. Я читала целый месяц, злилась, теперь готова дать хоть какую-то рецензию... Вдруг сегодня прикатит на своей командирской машине, он же просит ему Кальвина найти... Надо рукопись взять с собой. Он такой пристальный, все поймет...

Если не поругаемся. Мы все время ругаемся. Потому что даже великие люди у него потливы и похотливы, не говоря о простых... Потому что у него весь мир — бардак, все люди б..., как дедушка говорил... А может, он не потому злой, что злой, а потому, что ухо сильно болит?

Вторая необычная папка — учитель. Черновики, а чистовик макета я ему уже отдала, он с ним в типографию рванул, зачем же черновики носить? Не надо, долой... Наверно, он обиделся за жестокую правку, но, в конце концов, меня тоже правят, и его грамматика — его забота. А так идея книжки полностью моя, и обложку ему подобрала — ах! «Вторая молодость» — заголовок, а на фото два старых засохших дерева переплелись. Один рассказ хороший и есть, тот, что про стариков, воспылавших друг к другу. Все единодушно потряслись. Остальное так слабо, так спорно, что под ложечкой сосет. Представьте: работать и знать, что на выброс пойдет! Но он явно не увидел бы себя на расстоянии без этой книжки, вот эта степень отстраненности, откуда она еще возникает?.. Только когда увидишь страницу в стольких экземплярах, и закрутит тебя, задонимает: что ж я, что ж я... Нельзя его терять — других хорошо слышит, внимательный чуткий к другим, резонатор лучше некуда. да и сам еще кое-что может.

Целый ворох неотвеченных писем... Так, это старая подружка, художникожена — еще времен колонии — это она оттуда стихи посыпала. А теперь вот, говорят, вышла, да мне и не показалась. Надо ей книжку, не надо?.. Никак руки не доходят.

А это милейшая внучкина бабушка, и черновая, и чистовая, и наброски ручкой, и распечатки разнокалиберные, батюшки, да тут и фотографии остались! Надо отдать скорее, придет на работу — все с собой... Я не жалею, что возилась с ней, по крайней мере, у нее праздник получился, она еще не знает, какой это все кошмар. Как и многие другие, нажимая на курок, не хотят знать, что они надежду свою простреливают. Так бы еще тайна была, туманная мгла, а так — все ясно...

Ну вот! Очередные документы на вступление. Что это я их ношу две недели, давно надо отправить — в другую кучку их, на почту, на почту немедленно! Волнуется человек! Кстати, эту папку я тоже ему подготовила, тут мое первое действие, а второе еще в черновике. Пусть скажет мнение, а то сам, небось, уж две одноактные пьесы набарабанил... А вот это не просто документы. Тут уж, считай, высший суд над собой человек произвел. Одно заявление уже — крик души, исповедь... Все бы так под-

ходили к себе, с высшей меркой. Впрочем, я сама на подобное не способна.

Ежедневник так распух, что все выпадает. Азиатский мальчик, солдатик из района, вот те раз. Я же его потеряла и написала ему, так он и убивается, наверно. Как позорно вышло, боже мой. Немедленно ему написать сегодня, пока он еще не демобилизовался... Все-таки изумительны его строчки об измене милой, за которую он же у нее же и прошения просит. Как это он, такой молодой и так уже постиг это мудрое, молитвенное — к женщине! Откуда это в нем, с его толстыми шеками и кирпичным румянцем? И деревенская поэтесса другого совсем уезда тут, уже начато письмо. Все с собой. Допишу сегодня... Письмо подруги из Челябинска, в котором впервые за два года радостная весть — она нашла свой очередной роман у шланга стиральной машины, на полу. Долой депрессию, дорогая. Пиши, начинай скорее свой новый роман, а я уже про тебя статью написала довольно просторную, вроде обзора. В ней мало ума, много чувства. Не статья, а величальная песнь... В твой «Урал» и отправлю. Видишь, я готова хранить все твои бесценные рукописи, если уж не могу все издать... Издавать-то надо бы там, где ты живешь, а не там, где я. Но попробую хотя бы заложить в память... Текст сохранится. Твои пальцы, которые настукивают гениальные страницы романа, связали мне фантастический шарф, берет — фиолетовый меланж тихой радугой светится теперь вокруг моего лица...

Владимирская писательница, которая была на семинаре с дочкой, письмо прислала. — Считаю, что я первая в стране ее напечатала, горжусь этим.. Вязь стариннейших фраз, изящество, преклонение перед Набоковым. Когда-нибудь, верю, увижу ее в толстом журнале. А пока она просит изложить ей технологию выпуска моего альманаха, и я пытаюсь одновременно и одобрить, и отговорить. Ее талант не в этом. Какие у нас еще иллюзии!

Наша молодая поэтесса, которая чудно снялась в телепрограмме — фотография: она, среди белого фарфора и новых книг, у ног солнечный ребенок и черная мудрая собачища... А фото на членский билет полгода сделать не может. Такова данность. Кстати, вот ее же резонанс на Гальского: «вернуться в Россию дождем!» Ее отзыв на кого бы то ни было — редчайшее прикосновение, она понимает изнутри... Только как ее заставить, уму непостижимо. Взять презентацию финна — доклад написала, но забыла его дома. Пришлось на ходу вспоминать, и ей ее же тезисы строчить. Стихи-то на вторую ее книжку

я коплю, но это процесс, кажется, долгий. С прозой поэтессы — вот тут в сумке ее рассказы — разговор особый. Многое приступило из милиционской работы мужа, интересная фактология, да, но одухотворяющая аура самой поэтессы не согрела еще эти факты. Я говорила — женские образы удались, давай дальше... Она перестала даже черновики теперь мне показывать... Неужели я так давлю на людей?.. К другой поэтессе даже на километр не подходила, в статье посмела похвалить — и то целая трагедия: «вы ходите по трупам». Эх, нежный народ эти поэты...

Это Шекспир, сонеты, которые перевел местный автор, доктор, кстати, а я его так и зову — «Шекспир». Тоже сто листов, ну размахнулся, доктор лор. Кое-что лучше Маршака, в общем, я не специалист по переводам, а отзыв прекрасный... Ну что с ним делать, не знаю, хоть убейте. На люди выходить не может, заикается, голодает, с кровью, говорит, неладно, значит, надо торопиться при жизни издать, так? Доктор безработный, худой, «дай на сигареты», а я что, дочь миллионера? Сама без часов, без бутербродов, без туфель... Нет, это прессинг, невольный, может быть. Возьму с собой, может, придет опять, вот тут надо бы поправить. Хотя он так плохо идет на поправки... «Шекспир» мне дан во испытание. Я ради него бросила на три месяца всех остальных. Хотя может и поняла что-нибудь именно через него — то, чего другие не хотели понимать. Поссорилась с ним, и с мастером телефонным, который мне же телефон проводил. А почему? Зачем он всем диагнозы ставит?

Еще вот психиатролог. Его романея про Савинкова, глава третья. Кстати, почему ко мне в последние годы пошли сплошь врачи? Может, я больная? Может, мы все больные и кто-то косвенно жалеет нас? Впрочем, мы никому зла не причиняем. А что приходится порой терпеть выкрутасы друг друга, так это даже хорошо, это нужно, это развивает терпение... Каков искус для психиатролога разложить Савинкова как психбольного, поставить диагноз. Тем более и архивы богатые, и савинковские тексты. Мы спорили не один день, и кажется, теперь он стал даже любить своего героя. И говорит о нем не как врач. Как друг. Сила, способность понять и принять — невероятная, даже сам писатель преображен ею и стал другой.

Молодые инакие стихи. Девочка золотая, сумасшедшая. «Не меряйте логикой речь пьяных влюбленных...» Значит, никаких рамок. Никаких! Я сама ее нашла в редакции по адресу, философ гонял командирский газик с запиской. Я ее ругала, а теперь не

могу, очарована до комка в горле, если зайдет — схвачу за руку мертвой хваткой, не выпущу. Сколько можно ругать? Буду одобрять внаглу, не скрываясь, пусть мне же хуже... Иногда ругать нет сил, но ей будет хуже, если захвалят. Спросить о ней московскую знаменитость? Или отнимется язык, как в случае с Петрушевской... Когда я спросила ее мнение обо мне, она меня отхлестала. Так что неизвестно, чем это может кончиться.

«Боже мой, ну где вы были, где вы прятали галлонка?» — читаю, шевеля губами. А знаете, вот так в себе и прятала. И лишь теперь вижу — незачем. И лишь теперь понимаю — я редкое существо, только боялась так думать. Она натолкнула меня на это. Она дебютировала в престижной газете, о ней заговорили, гори-гори ясно, чтобы не погасла. Хотела я ее учить, но чему? Читать вслух — побелела, чуть не сорвалась вон. Только не она у меня, это я у нее учиться должна. Новой системе мышления, существования, новой, прерывистой от любви речи... «Зашелованный и заласканный/ куролеся смеша играя/ этот рот не хотел быть сказкою/ он себе позволял быть явью...» Она себе позволяет быть явью!..

Да все равно она не слушает никого, слушает только авангардиста. Вот как слушал у Короленко слепой Петрик и понимал дудку конюха, а не материно пианино... Ну и кто у нее конюх? Авантюрист пригласили в элитарный писательский союз в столице. А я, патологически рвущаяся исправить всех и вся, в случае с авантюристом пасую. Не могу узреть, где правильные фразы, где нет. Однажды он прочел эротику, потом просто лирику, но в любом случае это какой-то фейерверк страсти — то ли Азия, то ли Титаник. Они пишут друг другу мадrigалы, он — ей, она — ему. Такой праздник понимания. Тут серый человек молчи, кстати, вот белогвардейские вирши авантюриста. Могли бы славно взлететь под гитару....

Корреспондентка дала мне записанные на рваном конверте похабные частушки мэтра. Все так хотели тогда, а она взяла и записала, теперь будет юбилейный выпуск листовки, а я туда и влеплю, ой, не потерять бы только. У нас все с печальными, мрачными рожами сидят, а смешины эти — самоцветы, камешки драгоценные, как у молодой в стихах — у той, что любит авантюриста. А вот сложенный, затрапанный текст — «Я завидую ей молодой /И худой как рабы на галере / — Горячей чем рабыни в гареме / Возжигала зрачок золотой /И глядела как молча горели две зари по-над невской водой...». Ахмадулина, я пела это, когда мы поехали выступать в район.

Стихи худого чужака. Он сто лет не ходил, тут явился, трезвый абсолютно, стал читать их для нас, и так вдруг стало грустно, так горько, что жизнь кончена и ничего больше не будет. Только уход. И никакой в том истерики, просто смиление, смиление до пустоты ветра... Он стал читать, и тут вдруг пенсионерка — год молчала — вдруг встрепенулась, осмелилась и стала читать свои стихи, и не просто так, а в тон: кантилены — редкое совпадение. А они ведь разные по возрасту, по мироощущению. Так случился второй, кажется, за мою бытность, праздник понимания... Не обсуждение, не разборки, а совпадение безошибочное, радостное.

Однажды молодая поэтесса сказала худому: «Давай заканчивай вторую книгу, издалим, примем в союз, да и начнешь, наконецто, стихи писать». Все были в шоке.

Кассета с музыкой, и что там? Ах, это Паша Кашин. Была встреча с молодежной рок-группой, они остались. Он слишком дурашив, чтобы быть моим. Написал на обложке альбома благодарность звукооператорам, Пушкину, папе и маме. То ли ради рекламы себя, то ли правда пьет живую воду вечного стиха. Его кидают от цинизма к почитанию, от слез к дразнилке «Я лежал ненужной рожей во ржи... Расскажи моей любезной, что я еще жив...». И тут же про чайку — «выносите белую»... Нет, обезоруживает, правда. Каждая песня ассоциативно связана с какой-то книгой, будь то Селинджер или Бах. Ну не могут эти молодые, попперчные, выражаться иначе, а высокая романтика на самом деле им не чужда, просто она в экзотическом новом облике.

А кто будет нашим Кашиным? Кто отчаянно и грустно споет наши рукописи?.. Нет, сумка все еще тяжелая... Слушай, милый, «Менеджмент и маркетинг» я не тебе брала? Возьми полистай, а то ведь месяц уже ношу. Да ерунда, мне девочки подсунули «Степного волка», год не могу прочесть. Стейнбека и то только после больницы одолела... А вот киреевских женщин в «Роман-газете» прочла. Да жалко отдавать... Эмигрантов тоже надо срочно отдать — из книгохранения резервный экземпляр уташила, все ради Гальского.

Зачем дискеты? Тут же все мое. Если будет после отчета время, или после того, как мы про Бродского сочиним, мои рассказы по-вычитываем. Надо же их, в конце концов, до ума доводить... Валяются год уже.

Вот оно что! На дне сумки килограмм моркови и два пакета кефира. Ну и ну. Да ты не пугайся, я сегодня купила, вот как раз оладьи пойду и сделаю. А остальное все обратно, обратно. Все надо.